

Глеб Иванович Успенский

Нравы Растеряевой улицы



Глеб Успенский

Нравы Растеряевой улицы

«Public Domain»

1866

Успенский Г. И.

Нравы Растеряевой улицы / Г. И. Успенский — «Public Domain», 1866

«В городе Т. существует Растеряева улица. Принадлежа к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, то есть множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками «караул!», и всеобщая бедность, в мамаевом плену у которой с незапамятных времен томится убогая сторона. Бедное и «обглоданное», по местному выражению, население всякого закоулка, состоящее из мелких чиновников, мещанок, торгующих мятой и мятной водой, мещан, пропивающих все, что выторговывают их жены, гарнизонных солдат и проч., такое бедствующее население в городе Т. пополняется не менее обглоданным классом разного мастерового народа. ...»

Содержание

I. Прохор Порфирыч	7
II. Первый опыт	19
III. Дела и знакомства	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Глеб Иванович Успенский

Нравы Растеряевой улицы

В городе Т. существует Растеряева улица.

Принадлежа к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, то есть множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками «караул!», и всеобщая бедность, в мамаевом плену у которой с незапамятных времен томится убогая сторона.

Бедное и «обглоданное», по местному выражению, население всякого закоулка, состоящее из мелких чиновников, мещанок, торгующих мятой и мятной водой, мещан, пропивающих все, что выторговывают их жены, гарнизонных солдат и проч., такое бедствующее население в городе Т. пополняется не менее обглоданным классом разного мастерового народа.

В Т. с давнего времени процветала промышленность всякого рода металлических изделий: в городе и в окрестностях находятся чугунолитейные, колокольные, самоварные и другие заводы. Кроме того, город славится известным заводом стальных изделий, населившим своими рабочими все Заречье и целую слободу Чулково. Это сторона совершенно особенная; обыватели ее, когда-то пользовавшиеся разными правительственными привилегиями, гордо посматривали на мастеров городской стороны, работающих в одиночку, и при встречах не упускали случая поделиться взаимными любезностями: «кошкин хвост!» – говорил один, «огурцом зарезался», – отвечал другой, и оба с серьезными лицами проходили мимо. От насмешек зареченского мастера, или казюка, как называют их мещане, не уходил даже чиновник, для которого тоже были изобретены особенные клички, например: «стриюцкий» или «точеные ляшки» и проч.

Растеряева улица лежит на городской стороне, но общий колорит рабочего города отразился и здесь. Вот, между прочим, в лачуге, ниоткуда не защищенной заборами, проживает представительница собственно растеряевского мастерства, старая солдатка, «кукольника». Под ее дряхлыми пальцами цветет отечественная скульптура; в летние, погожие полдни на завалянке ее лачуги непременно сушится несколько глиняных офицеров и дам и бесчисленное множество лошадей-свистулек с одними передними ногами. Растеряевские мальчишки запасаются этими свистящими конями и в течение целого года разнообразят смертельно пронзительным свистом свое горестное существование. В таких же лачугах живут сверлильщицы, наждашницы, женщины и девушки, занимающиеся на фабриках. В этой же улице живут гармонщики, токари, наводильщики и т. д. На конце улицы, упирающейся в широкое Воронежское шоссе, виднеется квадратное здание из темно-красного кирпича – самоварная фабрика. Все эти мастерства дают Растеряевой улице несколько иную сравнительно с другими захолустями физиономию. В дни отдыха молчаливая физиономия ее оживляется драками и пьяными, разбросанными там и сям. В будничные дни к звонкому пению кур присоединяется стук молотков, то попеременно, то сразу вдруг обрушивающихся на отчеканиваемую металлическую массу; звуки гармонии, на которой мастер для пробы тронул с «перехватом»; жужжание токарного станка – и надо всем этим, по обыкновению, тихая песня.

В темные зимние вечера, когда бывали обыкновенно везде уже заколочены наглухо ворота и ставни и обыватели ложились спать, окна фабрики были еще ярко освещены, из осьмигранной трубы медленно выползали большие мутно-красные искры, тотчас же потухавшие в темном воздухе.

Никем не вспоминаемая, никем не сторожимая, Растеряева улица покорно несет свое бремя – нужду. Стук молотков, постоянная песня или бойкая шутка мастерового, идиллическая веселость детских уличных игр или развеселая сцена бабьего столкновения, разыгравша-

яся среди бела дня и среди улицы, – все эти внешние, уличные проявления растеряевской жизни не дают, однако, никакого понятия о том темном горе жизни растеряевского обывателя, которое гнетет его от колыбели до могилы.

Мы узнаем его постепенно и, как ни удивительно будет это для читателя, начнем наше знакомство с растеряевским горем при помощи такого растеряевского человека, который, ко всеобщему удивлению, иногда с совершенно покойною совестью может сказать о себе:

– Чего ж мне еще от Христа моего желать?

Человек этот был пистолетный мастер, молодой малый, по прозвищу Прохор Порфирч, обитавший в собственном домишке. Ради такого дивного дива мы прежде всего и познакомимся с этим счастливым человеком, чтобы вместе с тем познакомиться с скромными растеряевскими людьми всякого звания, по-своему недовольными и по-своему счастливыми...

I. Прохор Порфирыч

Года два тому назад Прохор Порфирыч еще не был постоянным обывателем Растеряевой улицы, хотя улица эта вынянчила его и выпустила на свет божий из своих голодных недр. Дело в том, что в Растеряевой улице когда-то давно поселился отставной полицейский чиновник, упрочивший за собой славу великого дельца и человека особенно неустойчивого насчет женского пола: так, он развелся с женой, необыкновенно слезливой женщиной, и сошелся с ярославской мещанской девицей Глафирой, которая долго держала прихотливого барина в своих руках и под конец все-таки должна была отказаться от него в пользу чиновничьей дочери Лизаветы Алексеевны, девицы средних лет, с опущенными всегда в землю глазами и жестоким стремлением к воровству. Глафира, впрочем, не рассталась с барином: низведенная на степень кухарки, она решилась скоротать свой век в кухне и полегонечку начала запивать. Прихотливый барин тоже и сам не имел духу прогнать ее (что следовало по обычаю), потому что у него было два сына, которые хоть и назывались Порфирычами в честь ветхого кучера Порфирия, но и барин, и Глафира, и дети знали, в чем дело. Старший сын Глафиры оставался при доме, в качестве лакея; младший, Прохор, отдан был в ученье к токарному мастеру. И в то время, когда веселый дом чиновника уныло стоял с запертыми в нижнем этаже окнами, когда в саду его не слышно было больше пьяных чиновничьих голосов, распевавших светские и духовные песни, а сам барин, пораженный всяческими недугами, неподвижно лежал в маленьком мезонине, ожидая смерти, Прохор Порфирыч, в эту пору двадцатитрехлетний парень, работал за Киевской заставой один, на себя, приготовляя на продажу револьверы.

В это время и начинается наше с ним знакомство.

Вследствие ли сознания своего «благородства» или вследствие житейского опыта, Прохор Порфирыч держался как-то в стороне от своих собратий мастеровых, не походя на них ни в чем: его никто никогда не видал в драке, с разбитым глазом или пьяным, валяющимся где-нибудь среди лужи.

Растрепанная, ободранная и тощая фигура рабочего человека, с свалывшеюся войлоком бородой, в картузе, простреленном и пулями и дробью во время пробы ружья, с какими-то отчаянными порывами ежеминутно доказать, что «жизнь – копейка», такая отчаянная фигура совершенно не походила на фигуру Прохора Порфирыча: на нем всегда был цельный, опрятный картуз, лицо тщательно вымыто, а грязная шея, запыленная мельчайшими железными опилками, носящимися в воздухе мастерской во время работы, пряталась под гарусным шарфом, придерживаемым плисовым воротником достаточно подержанного драпового пальто. Плохонькие, но все-таки выпускные панталоны и ясные признаки поплеывания на носки грязноватых сапог, все это говорило о желании иметь хоть какое-нибудь подобие человека, и главное, человека благородного. Вообще он не столько походил на мастерового, сколько на семинариста, благочиннического сына; у него не было только этого довольства фильдекосовыми перчатками, этого страстного желания распластать огненного цвета шарф по всей спине, да и физиономия его носила следы постоянной сдержанности, вдумчивости, дела, что сам Прохор Порфирыч называл «расчетом», руководясь им во всех своих поступках.

Так, например, носить немецкое платье Прохора Порфирыча побуждало не только благородство, но и расчет. «Случись, – говорит он, – пожар, примерно, твое дело сторона... Так-то!»

И действительно, в то время, когда руки полицейских (по-растеряевски «хожалых») тащили за шивороты толпы разных чук и чемерок и когда эти чуйки среди огня рвали голыми руками раскаленные листы железа, изредка подставляя лицо и спину под струю воды, чтоб не сгореть, – в эту пору Прохор Порфирыч мирно стоял среди благородных людей и спокойным голосом объяснял соседу:

– ...Извольте видеть, столб-от... белый-с?

– Да?

– Это все из-за самых пустяков происходит. Потому теперича из верхних слоев тяга с одного конца ударяет, а снизу-то... уж она опять тоже отшибку дает... Извольте взглянуть, как оттуда понесло...

И Прохор Порфирыч, поднимая руку вверх, поворачивался лицом к ветру.

Чем более Прохор Порфирыч убеждался в справедливости своих взглядов, тем вдумчивее становилась его физиономия.

Часто во время работы в своей мастерской Прохор Порфирыч один-одинешенек вел какие-то отрывочные разговоры вслух, доверяя свои мысли станку и сырым, почерпелым стенам.

«Черти! право, черти! – слышалось тогда в мастерской. – Ваше дело – путать... колесом ходить. Нет, я тебе разберу авчину-то!..» Но если случалось, что Прохор Порфирыч забежал на минутку к какому-нибудь знакомому чиновнику (знакомые его были исключительно чиновники и вообще люди благородные), то здесь сразу прорывалась вся его сдержанность и все тайные размышления вылетали наружу; он особенно любил говорить о своих делах именно с чиновником, потому что всякий чиновник умеет разговаривать: у места говорит «да», у места «нет» и всегда кстати задает вопросы.

Если же, паче чаяния, чиновник и не понимает, в чем дело, то уж зато отнюдь не противоречит.

Сидя где-нибудь в углу в тесной квартирке одного из своих знакомых чиновников, Прохор Порфирыч не спеша прихлебывал горячий чай и не переставая говорил.

– Вот вы изволили, Иван Иванович, разговаривать – времена-то теперь тугие-с.

– Д-да! – вскидывая ногу на ногу, говорил чиновник.

– Д-да-с; а ежели говорить как следует, то есть по чистой совести, умному человеку по теперешнему времени нет лучше, превосходнее... Особливо с нашим народом, с голью, с этим народом – рай!

– Рай?

Чиновник встряхивал от удивления головой.

– Ей-ей-с!.. Главная-то наша досада – не с чем взяться!.. Хоть бы мало-маленько силишки в руки взять, как есть – первое дело!.. Одно: умей наметить, расчесть!.. Приложился – «навылет». Вот, говорят: «хозяева задавили!» Хорошо. Будем так говорить: надели я нашего брата, гольтепу, всем по малости, чтобы, одно слово, в полное удовольствие, – как вы полагаете, почувствуется?

Чиновник всматривался в лицо Прохора Порфирыча и нерешительно произносил:

– М-мудрено!

– Ни в жисть! Ему надо по крайности десять годов пьянствовать, чтобы в настоящее понятие войти. А покуда он такие «алимонины» пушает, умному человеку не околевать... не из чего... Лучше же я его в полоумстве захвачу, потому полоумство это мне расчет составляет... Так ли я говорю?

– Что там!.. Народ как есть!..

Чиновник наливал чай и, указывая Порфирычу на чашку, прибавлял:

– Ну-ко... опрокинь!

Порфирыч брал чашку, садился на прежнее место и продолжал развивать перед чиновником теорию о том, как бы «надо» по-настоящему, «ежели б без полоумства». Понижая почти до шепота свой голос, словно что утаивая от кого-то, он исчислял все выгоды рассудительного житья: «тогда бы и работа ходчей», и «сам бы собой дорожил», и «был бы ты на человека похож», – шептал он, – и как ни был сообразителен чиновник, он поддавался своему дрогнувшему сердцу и с скорбью произносил, что хорошо бы надоумить «ребят»; но тут же, принимая в расчет «полоумство», опять приходил в себя и убеждался, что «их, чертей», надоумить нет

никакой возможности. Иронический взгляд и улыбка Порфирыча, следовавшая за таким заключением, неожиданно поражали чиновника...

– Надоумить! – возразил Порфирыч, не изменяя улыбающегося лица. – Напротив того, Иван Иванович, надоумить его можно в одну секунду... Человек, который имеет настоящую словесность, может это оборудовать с маху. Скажет он им: «Черти! аль вы очумели?.. Так и так...» и такое и прочее... В единую минуточку они отойдут... от хозяина... Но что же из этого выходит? А то, что этому словеснику шею они свернут, тоже не мешкая... «Отбить – отбил, а работы нету!» Хозяин, он перетерпит, а наш брат на вторые сутки заголосит... Брюхото, оно – первое дело – в кабак!.. В ту пору ему утерпеть нельзя... А хозяин с благочинностью взял полштоф в руку, поднял его превыше головы для повсеместного виду: «Ребятюшки!» Так и хлынут к нему... В ту пору хозяин может их нажимать даже без границ... Это расчет-с большой!

Снова поддакивает чиновник и, желая не уронить себя на этот раз, уже смело выводит заключение, что всему горю голова – «водка!»... Порфирыч на этот раз даже засмеялся...

Чиновник не знал, что и подумать.

– Водка-с! – ухмыляясь, спокойно говорил Порфирыч. – Водка, она ничуть ничего в этом деле... Она дана человеку на пользу... Потому она имеет в себе лекарственное... Как кто возьмется... А главное дело опять же это полоумство... Как вы обсудите: мальчонка по тринадцатому году, и горя-то он настоящего не видал, а ведь норовит тем же следом в кабак!..

И пьет он «на спор», «кто больше»... Облопаются, с позволения сказать, как бесенята, а потом товарищи и тащат по домам на закорках.

Чиновник недоумевал.

– Нет-с, Иван Иванович, в нашем быту разобрать, что с чего первоначал взяло, невозможно!.. У нас доброе ли дело, случится, сделают тебе – и то сдуру; пакость – и это опять сдуру... Изволь разбирать!.. То ты к нему на козе не подъедешь, потому он три полштофа обошел, а в другое время я его за маленькую (рюмку) получу со всем с генеральством его. Опять с женой драка... Несусветное перекабыльство!¹

– Перекабыльство? – переспрашивает чиновник.

– Да больше ничего, что одно перекабыльство. Потому жить-то зачем – они не знают... Вот-с! Вот к этому-то я и говорю насчет теперешнего времени... Прежде он, дурак полоумный, дело путал, справиться не мог, а теперь-то, по нынешним-то временам, он уж и вовсе ничего не понимает... Умный человек тут и хватай!.. Подкараулил минутку – только пяточком помахивай... Ходи да помахивай – твое!.. Горе мое – не с чем взяться. А уж то-то бы хорошо! Хотя бы мало-мало силенки... Вместе с этими дьяволами умному человеку издыхать? Это уж пустое дело. Лучше же я натрафлю да, господи благослови, сам ему на шею сяду.

Тут вытарашил глаза даже сам Прохор Порфирыч; чиновник делал то же еще ранее своего собеседника. Долго длилось самое упорное молчание...

– Время-то теперь, Порфирыч, – нерешительно бормотал чиновник, – время, оно...

– Время теперь самое настоящее!.. Только умей наметить, разжечь в самую точку!..

Прохор Порфирыч сказал все. Некоторое волнение, охватившее его при конце рассуждений и намерений, только что высказанных, прошло. Разговор плелся тихо, пополам с зевотой; толковали о том, что «от праведного труда будешь не богат, а горбат». Заходила речь о ворах, которые в последнее время расплодились в городе, и Прохор Порфирыч приводил по этому случаю какую-то пословицу, и т. д. Из приличия, на прощанье, Порфирыч задавал чиновнику еще несколько посторонних вопросов и наконец уходил; чиновник высовывался в окно и, увидав своего собеседника на тротуаре, считал нужным тоже что-нибудь сказать.

¹ Слово это происходит от «кабы». Разговор, в котором «кабы» упоминается часто (кабы то-то да кабы другое... кабы ежели и т. д.), – очевидно, разговор не дельный; таким образом, «перекабыльство» – то же, что бестолковое «галдение» в разговоре и бессмыслица в поступках. (Здесь и далее примеч. автора.)

– Так перекабыльство? – спрашивал он.

Порфирыч утверждал это кивком головы и утвердительным движением руки. Оставшись один, чиновник непременно думал уже про себя: «Однако этот Прошка – значительная язва будет в скором времени!..»

Как видно, намерения Порфирыча насчет своего брата, рабочего человека, были не совсем чисты. Самым яростным желанием его в ту пору было засесть сказанному брату на шею и орудовать, пользуясь минутами его «полоумства». Между тем Прохор Порфирыч сам на своих плечах выносил и выносит всю тяготу жизни рабочего человека, имея преимущество только в трезвости, в обстоятельном расчете всякого дела и больше всего в благородном происхождении, которое как-то уж и без расчета и без сознательных причин заставляло его крепче держаться своих взглядов и клало какую-то грань между ним и чумазым мастеровым народом. Ему и в голову не могло прийти так же упорно, как упорно размышлял он о собственной участи, размышлять о том, что перекабыльство и полоумство, которые он усматривает в нравах своих собратий (питье водки на спор, битие жены безо времени), что все это порождено слишком долгим горем, все покорившим косушке, которая и царила надо всем, заняв по крайней мере три доли в каждом действии, поступке и без того отуманенного рассудка. Прохору Порфирычу некогда было разбирать этого; у него была своя забота, с которой только-только справиться.

«Душа пить-есть хочет, да штаны сшей!» – говорил он и резонно не хотел иметь ничего общего с пропащим народом. А народ этот он понимал и рассказывал про него так:

– Был я мальчиком по двенадцатому году и, спасибо братцу, в то время грамоте выучился: читать-писать... Хотя, признаться сказать, вся моего братца эта учеба в том и состояла, как бы кого линейкой обеспокоить, то есть по затылку...

И дрались они, братец, не то чтобы с сердцов, а даже от большого уныния... Скука. Обучившись я грамоте, после того не знают, по какой меня части пустить... Маменька Глафира Сергевна от сидельцев без памяти – «лучше житья нету», барин говорят: «как знаешь», а станем у братца спрашивать, то опять же это уныние... Был я у мальчика одного, знакомого, он у мастера работал – «иди, говорит, к нам...». Поглядел я на станок (по токарному мастерству они были), колеса эти разные, винты, пойдет чесать, пойдет – откуда что возьмется... замлел! «Хочу да хочу, отдай да отдай к мастеру!.. Никуда больше не пойду!..» Молил, просил, маменька серчают, братец и обругал и прибил – ну все же отдали. Только не к тому мастеру, а к растеряевскому: чтобы поближе к своим...

Радуюсь я: думаю, вот сейчас я эту машину превзойду до последней порошинки. Только что же случилось: как я был изумлен, когда, три года у мастера живши, ни разу к этому станку доступу не получил, потому, собственно, что был он, этот станок, пропит... Ужаснулся я в то время! Бедность была непокрытая, истинно уж ни кола, ни двора, ни куриного пера...

Вся избенка-то была вот так отграничить, и лежало в этой избе корыто с глиной, а боле, кажется, ничего и не было... Стал я об таком ученье удивляться, отыскал ребят – было нас учеников трое, – говорю: «Что же, ребяташки, когда же это ученье будет?..» А один из них, Ершом звали, худой, глаза большущие, маленький, волосы топорщатся, шепчет мне ровно бы басом: «Ты, говорит, не говори про это... А лучше того ноне ночью, как с покражи придем, я тебе про дьяволов сказку скажу... Молчи. Я тебя на все наведу...» – «С какой с покражи?» – «Ты, Проха, громко не кричи, лучше ты шептуном, когда тебе что надо. А покража у нас каждую ночь положена, потому что жрать нам с хозяевами нечего, так мы это все ворует с соседских огородов...» Тут я бога вспомнил... залился, залился – поздно! А Ершишка утешает и все шепчет: «Ты, друг, не робей, потому я тебя полюбил и ноне скажу сказку про Ефиопа... Я их и по ночам вижу...» Хозяина все дома не было.

Подошел вечер, Ершишко говорит: «Пора, Проха, на кражу... Перва пойдем дров добывать». Пошли мы все троичкой на пустошь, а на пустоши стояла гнилая изба: может, года с три в ней никто не жил, и большим страхом от нее отдавало... Перва мимо пройти боялись, потом

посмелей стали, в окошечко заглянули, потом того, в нутро пробрались: лежит на полу мертвый петух и тряпка с кровью... Начали слоняться туда бродяги, нищие и пьяные, приказный один зарезался... А после того, помаленьку, кто ставню оторвет, кто дверь – и пошли таскать...

Так что изба эта целой улице была отопление... Приходим, а уж там и раньше нас набралось разного голого народу: тащат что под руку попало, а то и друг у дружки рвут; завидели нашу братию – гнать; мы на них пошли; они – дубьем... А Ершишко словно полковой: «Ребята, говорит, не отставай!» Как пошли они этого беднягу, Ершонка, трепать – только и видно, как он по воздуху летает, только подшвыривают – как есть в лапту...

Но Ершонок не мало храбрости сохранил и, летая по воздуху, кричит: «Нет, врешь! посмотрим, кто кого...» Нахожу я Ерша на крапиве – лежит он и шипит: «Башку ушибли!» Стал я его жалеть. «Ничего, говорит, Проха, все же я не одно поленце получил... А этому Ефремову, ундеру, я докажу, как он меня ноне избил... А тебе я за твою жалость две сказки скажу, ты будешь доволен...» Отсюда пошли мы в другое место воровать: репу, капусту, огурцы... Тут дело обошлось без помехи, даже так, что яблок себе натрясли, никто не слышал... Целую ночь Ершонок все мне сказки сказывал и в смертельную дрожь меня ввел своим шептаньем, под конец начал даже, ровно сумасшедший, домового мне показывать. «Вон, говорит, я вижу».

Спали мы в сенцах, ночь была непогожая, пробрало нас водой до костей, по улице вода гудела... А хозяина все еще не было.

Только под утро, чуть светок, слышишь-послышишь, в сенную дверь стучатся. Отворили: нищая стоит. «Поглядите-ко, братцы, не ваш ли это человек, бабы подняли...» Сейчас Ерш вскочил. «Я это все, говорит, знаю!» Побегли и мы... Глядим, две нищие в лохмотьях несут человека, только-только рубаха осталась: нашли они его в канаве, и всю ночь через него вода бежала. Ерш живым манером его оглянул, – «наш, говорит, осторожней; за мной!». Принесли они его в избу, свалили мокрого наземь; хотели было нищие награждения попросить, ну только хозяйка сказала: «За что я вас буду награждать, в случае он жив? Если б он издох, то я вам большую бы милостыню подала!» По правде сказать, хозяйка наша не то чтобы очень тосковала: начала она у одного барина приживать... кой-чем прислуживала...

Так мне грустно было, так грустно, не мог я горести своей удержать, побег домой, к маменьке... Залился, рассказал, как все было, какое началось ученье... Но маменька еще того пуще меня огорчила, так как совсем от меня отказалась. Стал я братца умолять, но и братец, разогорчившись рассказом моим, опять-таки шибко меня потрепал. Надо, стало быть, как-никак терпеть!

Между прочим, к ночи хозяин почувствовался. Хозяйки не было. Подзывает он меня и говорит:

«Смотри у меня, старайся:...»

«Буду!» – говорю...

«То-то!»

И тут же он безо всякой злобы развернулся мне в щеку, дабы я узнал, какова в руке его тяжесть, для весу, чтобы через эту боль помнил я и соблюдал осторожность...

И началась с этого времени моя каторжная жизнь!

Ели мы, когда что случится да когда своруюешь; спали на мокроте, на дожде... А ученья все не было, не начиналось; все хозяин, когда трезвый, от бога ждал, вот большая работа набежит, вот набежит... А покуда что, все он хмельной, все нет-нет да вытянет палкой кого... Случалось, в эту пору навернется работишка – в ножницах винт поправить или бы какому чиновнику на палку наконечник насадить. Тогда хозяин радуется и чиновнику говорит: «будьте покойны!» Но подумавши, полагал так, что это дело «успеется», и звал Ерша шутку шутить...

«Ершило! – говорил он, – можешь ты мне эту палку заговорить?..»

«Могу! В лучшем виде!»

«Чтобы ее никакая сила не взяла?..»

«Могу!»

«Ну, заговаривай!»

Ерш сейчас начнет разными словами сыпать (где-то он научился заговоры заговаривать) – не поймешь, откуда это он их набрался. Сыплет-сыплет...

«Готово!» – говорит.

«А ежели ты врешь, то могу я ее в пропой пустить?..»

«Я, – говорит Ерш, – в жисть мою не врал, а заговорено это дело наглухо...»

Тогда хозяин берет без всякого труда палку, дает Ершу по затылку и несет ее в кабак.

«Ах ты, идолова порода, – закричит Ерш, – что я сделал! Ведь я самое главное слово пропустил!.. А то бы ни в жисть ему этой палки не утащить... Ах я, разиня, разиня!..»

А хозяину, главное, «к случаю» как бы прицепиться: «ведь проспорил!»

Придет хозяин пьяный, тут уж всем достается... На нашу долю больше всех! Ежели жена случится, то сейчас норовит она от мужа либо под кровать, либо на чердак. Хозяин почнет шастать, искать; найдет – драка! И вся эта битва с женой – «зачем спряталась!».

Случится, хозяин отрезвеет, в ту пору он тихий, то есть как есть перед всеми виноват...

Тут мы к нему, бывало, пристанем:

«Дяденька, когда ж ученье-то?..»

«Ребятюшки, – говорит, – дайте вы, ради господа, мне маленько в ум войти. Может, – говорит, – хоть чужие молитвы об нас бог услышит и пошлет нам какого заступника.

Тогда не токмо всех вас в единую минуточку выучу, еще у всякого прощения попрошу...»

Тут, случается, жена заговорит:

«Заступника тебе? А чиновник палку дал, чем бы выработать что, вместо того пропил?»

«Милая! супруга, Анна Федоровна! Как же может эта палка нас от нашего несчастья сохранить? Тут на двугривенный дела не справишь! Ежели б палкой-то этой голову мне кто прошиб, тогда бы я за это ему ручки поцеловал...»

«У нас все так-то!..»

И пойдет баба причитать: ей только дорваться, кажется, порошинки не оставит.

«Анюта! – заговорит хозяин, – ради царя небесного, не души ты меня этими разговорами!.. Я это все в тысячу раз складней знаю... Только погоди ты хоть минуточку, дай мне опомниться, всех вас в золотые наряды разукрашу... Ах, боже мой!»

И не пройдет с час места, а уж опять от него жена под кровать прячется, а наш брат кто куда разбежимся.

И всё мы этой работы дожидаемся, всё бога молим. Кажется нам, что как только эта работа навернется, в ту же минуту все и пойдет благополучно. Случается так, и в самом деле, вдруг откуда ни возьмись работа, и большая... Дом, что ли, какой чиновник строит – сейчас, бывает, навалят нам замков чинить, новые делать, опять к окнам эти приправы, чтобы в лучшем виде, еще какая ни на есть мелочь... Ежели так-то случится, то уж истинная благодать наступала у нас в то время!.. Ну, только все же на одну минуточку...

Как сейчас помню, случился такой заказ; выпросил хозяин задатку и (удивление!) трезвый домой пришел. Сейчас начал он на образ креститься и передо всеми нами клялся:

«Вот разрази меня гром, ежели я только дохну на него, на мучителя моего (на вино то есть)! Жена! Ребятюшки! Всем вам теперича я удовольствие сделаю!..»

Сейчас отпускает жене на расходы целковый; на свечку казанской божией матери тоже рубль серебра, остальное себе на материал. Самовар закипел, все мы радуемся, бога благодарим; только и слышно:

«Слава богу! Слава тебе, господи, заступнику!.. Ах, как мы, ребятюшки, наголодались с вами!..»

Очень я в это время радовался, только Ерш этот шипит:

«Погоди, – говорит, – не торопись; ты меня только слушай одного!»

И точно. Пошел хозяин в кабацкие инструменты выручать и нас взял с собой: такая была дружба у нас. Идем и разговариваем. Входим в кабак. Все чинно... Выручил инструменты.

Вина ни-ни!.. Хотим мы уходить, а целовальник так, между делом, и говорит:

«Игнатыч, – говорит, – что это мы слышали, кабысь у тебя расстройка по работе-то?»

Хозяин ка-ак на него зарычит:

«Расстрой-ка-а?.. Из каких же это местов слухи такие?..»

И сейчас он, чтобы кабацкой канпании на удивление было, вываливает деньги на стойку и продолжает:

«Расстройка! Деньги-то вот они... Сла-ва богу!.. У меня работы не быть? Да где же это ты по нашей стороне такого мастера сыщешь, чтобы в полном комплекте?..»

Сейчас он полу откинул, картуз заломил, как есть миллионщик...

«Какая же может у меня быть расстройка, когда я вот все эти деньги в пропой отделил?»

«Ну, – говорил целовальник, – уж и в пропой!»

Тут дяденька от обиды такой весь зеленый сделался и потребовал сразу «монастырский», то есть уж самый превосходительный стакан...

Ну, и пошло!..

Только поддает, только поддает, и такой форс в нем проявился, что даже на удивление.

«У меня, – говорит, – работы навалено! У меня всегда без остановки! У меня на двадцати станах идет!»

Истинно глазам моим не верю! А дяденька только покрикивал:

«Д-давай!.. Полно зубы-то полоскать! Расстройка!..»

Под конец того инструменты эти он опять же в прежнее место препроводил и очень вином нагрузился: сидит на лавке, еле держится и все бормочет:

«Я гр-рю, васскор-родие, на два-ц-пять цалковых в сутки...

Я гр-рю, васскор-родие... может, по всей империи...»

Тут целовальник видит – время позднее, говорит:

«Голубь! Время, запираю».

Взял его под мышки и потащил к двери.

«Я пер-рвый мастер?..»

«Ты-ы! – говорит целовальник. – Кто ж у нас первый-то?..

Ты и есть!..»

«Масей!.. – это хозяин-то наш ему, – признайся по совести, доказал я тебе свое могущество?..»

«Ты, Игнатыч, – отвечал ему на это целовальник, – так меня ноне уничтожил, так сконфузил... То есть истинно победил своим богатством! Я думал, ты бедный, а ты поди-кось!»

«Я-а-а!..»

«Да уж ты-ы-ы!..»

И оставил нас целовальник на крыльце; дождик шел, и темно было...

«Ребятюшки! Видели, как я его победил?..»

«Видели», – говорим.

Не могли мы его тащить с собой, повалился он на улице и тут же заснул...

Стали мы ему в трезвый час говорить:

«Дяденька! Что же это вы себя роняете? Перед богом божились, так хорошо выговаривали, а заместо того еще хуже?»

«Ребятюшки, – говорит, – знаете, что я вам скажу?»

«Я знаю!» – заговорил Ерш...

«Нет, тебе этого не узнать!.. А вот что я скажу: кажется мне, сколько я зарокон на себя ни клади, никогда мне себя не удержать... Потому радости на своем веку только я и видел, когда

в лодыжки играл махоньким еще... Люди добрые в мою пору и хозяйство знают, и семью, и почет получают... Ну, а мне этого в своей избе не сыскать! Нет!.. Окромья лодыжек-то я еще, ребятушки, ни единою радостью не радовался... По этому случаю как малого ребенка можно меня обмануть, лишь бы только единую минуточку предоставить мне по моему желанию... Так-то!..»

Так мы и жили, а бесперечь хозяин себя чрез свое безголовье до того доводил, что непременно он раз двадцать у заказчика в ногах валялся, ругали его, самыми страшными божбами божился, вымаливал еще чуточку и опять же таки через слабость свою домой не доносил... Под конец входил квартальный: «Ты Иван Игнатов?» Ну, тут уж мы все в ноги валимся; тут народу копошится страсть!.. Вымолим кое-как прощение. И уж тут-то работа начина-а-а-ется!.. То есть не то что работой можно это назвать, а истинно ужас какой-то всех в это время обхватывал... Потому хозяин ровно бы сумасшедший бывал тогда... Где-то уж, господь его знает, доставал он инструменты, и так-то ли принимался орудовать ими, что уж нашему брату только в пору глаза вытаращить, не только для себя замечать. И день и ночь, и день и ночь только опилки летят, только молотки постукивают; ни водки в это время, ни даже крохи не брал и уж так-то работал, без разгибу. В этом запале нам в мастерскую нос показать опасно было: «Пр-рочь, кричит, черти! Так промежду ног и суются! Пр-рочь, расшибу!..»

Мы разбежимся обнаковенно... Кто где ежимся...

Кончит работу он беспреречно к сроку и все денежки до копеечки пропьет, даже домой не скажется... Дней по крайности пять пропадает...

Так я вздыхал в это время, так я убивался о своей жизни!

Который, думаю, мне теперича год, никакого я мастерства не знаю... Только-только колотушки и треухи в исправности отпускаются... На ласковое слово хозяйское понадеешься, пустое выходит. Где обиды не ждал и не чуял я совсем – втрое тебе ее, безо всякого заправского дела... Что это, думаю, господа?

Хотел я сбежать... Ну, только вскорости история одна случилась, и так обошлось... Однаво смотрим мы, что такое, по нашей улице воза едут: с перинами, с сундуками, столы, например, разные накручены, стулья... Все вообще разное имущество... И идут с боков этих возов бабы и всё у встречных спрашивают что-то... Ну, только встречные от них с испугом бегут... Что за удивление? Пошли мы за ворота с Ершом, стали нас бабы спрашивать:

«Где тут, ребятишки, солдатка покойница Караулова жила?»

«Я знаю где!» – говорит Ерш.

«Авдотья Кузьминишна?»

«Знаю! Знаю... Я все знаю! Только вы меня слушайте!..»

«От нее нам в наследство дом есть...»

«Есть!.. Пойдем!..»

Повел он их на пустошь: там кое-где щепки валяются, и печка с трубой вытянулась. Только и сохранено от дому.

«Вот! – говорит Ерш. – Получите!..»

«А дом-то?.. Где же дом-то?..»

«Дом точно что тут был, – отвечал Ерш, – ну, только теперь отыскать его мудрено... хошь я, признаться, словцо одно знаю...»

Между прочим, бабы по этой пустоши заматались как угорелые... Руками машут, бросаются туды, сюды... «Ах-ах-ах, ах-ах-ах... Ах, дома нет! Ах, где дом!..» Тут народу собралось множество, стали все удивляться, где дом: «я, – говорит один, – только поленце; я, – говорит другой, – только щепочек чуть-чуть отсюда взял». А тут целый дом пропал! Стали баб этих жалеть. Бабы те заливались слезами и рассказывали:

«Она тетка нам; она, Авдотья-то, нам этот дом отказала. Жили мы в ту пору в дальнем Сибире, на самом конце; покуда дошло туда извещение, с год места протянулось, а уж нас в

то время на Капказ перегнали; покуда опять в здешние палаты извещение-то вернули, покуда отсюда на Капказ дали знать, время-то два года и ушло; летошний год мы в октябре месяце собрались из черкесской земли, да покуда доползли, ан всего три года! Ах, ах, ах, дома нету!..»

И выть!

Начали бабы через начальство орудовать. Губернатор говорит, чтобы этот дом отыскать, – «из горла вырви, да вороти». Стали нашу Растеряевку потрошить: кто избу разбирал?

Никто не признается, один на одного сворачивает... Что тут делать? Хозяин наш дрожит: «Ну, говорит, ребята, доигрались мы!»

Однава пришло к нам в сени народу страсть: квартальный, будочники, бабы эти и Ефремов, ундер... Потребовали к суду: сейчас Ефремов этот солдат – усищи... во! – снимает перед квартальным фуражку и говорит:

«Ваше высокородие! Я богу и царю служу верой и правдой, извольте посмотреть, нашивки, и опять же царь билет мне на красной бумаге дал, это чего-нибудь стоит».

«Говори, в чем дело!»

«А в том дело-с, что весь этот дом вот эти мальчонки (мыто) разнесли... Особливо один, Ершом звать...»

«Это я!» – сказал Ерш.

«Вот он-с! Я, лопни глаза, сам видел, как он крышу с дому воротил... Будь я проклят!»

«А ты, Ефремов, – сказал Ерш, – забыл, как ты меня дубиной охаживал?»

«За то я его, васскородие, точно, с осторожностью коснулся, чтобы он казенное добро не воровал! Вы, васскородие, с них, с мальчонков, да и с хозяина-то ихнего требуйте, а мы, видит бог, ни в чем не причинны!»

И стали нас с этого времени побеспокоивать. Уж и не помню, как после того все мы разбрелись – кто куда. Куда Ерш девался – так и не знаю.

Ушел я от хозяина и, признаться сказать, горько заплакал.

Господи, думаю, что я такое? Кто мне на всем свете есть помощник? Никого не было. Беззащитен я в то время был вполне, тем прискорбнее, что мастерства-то совсем не знал никакого: правда, мог кое-как самоварную ножку подпилком обойти, да ведь уж это такое дело, что и малый ребенок не испортит; потому никак невозможно испортить. Только всего и знал-то я... Куда я с этими науками денусь?..

...Года четыре шатался я с одной фабрики на другую, с завода на завод: там одно узнаешь, там другое... Все настоящего-то мастерства не получил; а шатался-то я, собственно, потому, что уж очень было мне отвратительно хозяйское безобразие: что он мне деньги какие-нибудь пустяковые платит, то должен я, извольте видеть, совсем себя забыть; до того мучения было, что, верите ли, выйдешь в субботу с расчета, посмотришь на народ-то, как все движется, огоньки горят, так весь и расстроишься, и смеешься, и чего-то будто радостно, и не подберешь об этом никакого стоящего понятия, а как-то, не думавши, глядь – в кабаке! Было мне очень оскорбительно, что я почесть что (сами извольте знать) благородный и такое терплю гонение, и зачем только живу – сам не знаю... «Ах, – думал я в то время, – ежели бы только благородные люди узнали, что я тоже благородный, сейчас бы они со мной подружались и стали бы меня уважать!» Начал я маленько опоминаться, ребят своих сторониться, ну все же справиться не мог, потому платят на ассигнации четыре рубля в неделю, извольте прокормиться! Наши ребята по этому случаю всё жалованье пропивали. Потому некуда его деть...

А мне, по моему благородству, куда ж с этим жалованьем деваться?.. Хотелось мне жить, хошь бы как приказный живет: сейчас у него гости, трубочку покуривает, как ваше здоровье? тихо, чудесно... Стал я думать так: стану-ка я один работать. На себя... Думаю себе, тогда и барыш мне сполна идет, и буду я жить с рассудком. Был у меня товарищ Алеша Зуев, друг и приятель. Сказал я ему об эфтим, и он обрадовался, – «лучше нет, говорит. Давай вместе». – «Давай...»

Кой-как да кой-как сколотились мы на станчишко, взялись пистолеты работать. Наняли себе конурку, стали жить. Трудно нам, по правде сказать, пришлось слесарным мастерством заняться. Дело новое; ну, все же радовался я, что теперича совсем я по-благородному жить начну, потихоньку; между прочим, полагаю, что от пьянства я уж избавлен... Однако же нет. Живши более шести лет в этом пьянстве да буянстве, в прижиге да нажиге, достаточно я свое благородство исказил...

Случай такой случился.

Зачалась эта у нас работа, а наипаче того пошла дружба: такая дружба, такая дружба, страсть! Мало мне своего дела делать, все я стараюсь приятелю угодить... Зуев еще пуще того надсдается... Так он тихости и покою обрадовался, что когда, бывало, сидим мы с ним на завалинке, все он меня благодарит.

Попросит он меня стих какой сказать (я стихов много знаю), я ему стих скажу; и так я, признаться, умею этими стихами человека пробрать, даже невероятно. Я главное стараюсь жалобными; голос у меня для этого есть тонкий такой. Так я, бывало, этого Алеху стихом проберу, что только вздыхает он и говорит:

«Господи! Подумаешь, подумаешь, удивление!»

В ту пору ему кажется, словно он самого себя впервые увидал, начнет думать, только ужасается: «Господи, говорит, что ж это такое?.. Как же это все?..» И на дерево смотрит и на небо. И никак ничего не сообразит... Так он в этой жисти заржавел. Тогда как я, при моем благородстве, довольно хорошо все это понимал: примерно – дерево... Я это мог.

Я его стихом пробираю, – он мне ночью сказку какую расскажет. Сказки он богато сказывал.

Ну, истинно говорю, шла у нас дружба. Настояще как два ангела жили.

Только что же? Продали мы работу, первую, и с радости маленечко того – пивца... Дальше да больше – глядь, и шибко подгуляли... Наутро тоже. Потом того, Алеха сломал у моего замка пробой и выкрал все мое имущество. Выкрал и пропил...

Жестоко я этим оскорбился, хоть, признаться по совести, сам я тоже (уж истинно не знаю, как меня бог не защитил!) у Алехи из сундука выхватил, что было, и тоже пропил... Хмельны мы были; оскорбившись, подхожу я к Алехе, на улице ветрел, и в досаде на его такой поступок говорю:

«Ты как смел воровать?»

«Ты сам вор!»

«Врешь – ты!»

«Ка-ак, я вор!»

Кэ-эк я-а е-в-в-во-о!..

На оборотку сколупнул он меня торчмя головой в канаву; упал я, лежу и думаю: «Господи! Что ж это такое?» Ничего не пойму!.. Осерчал я, вскочил и так ему заговорил:

«Ты зачем в мой сундук залез?»

«А ты зачем?»

«Нет, ты-то зачем?»

«Нет, зачем» ты?..»

Я развернулся... р-раз!

Потому смертельная мне была обида, что я так себя унизил и никак настоящего первоначатия нашему безобразию не сыщу... Теперь я так думаю, что ежели который на двадцати языках знает, заставить его это дело расчесть, и то он пардону попросит...

Тут меня Алеха, признаться, помя-ал!..

После этого Алеха закрутился где-то. Сижу я один дома тверезый и все раздумываю: «Как же это я-то?» И стало мне, признаться сказать, от таких размышлений смерть как жутко...

Стал я кажинного человека опасаться: что у него на уме?

Может, так-то говорит он с тобой и по душе быдто, а заместо того что он сделает? Господь его знает!

Не дознавшись ничего в своем уме, вспомнил я свое благородство и тут же перед господом побожился, что с этого времени ни друзей, ни недругов промежду нашим мастеровым народом не заведу; и стал я вроде как затворник: в прежнее время хоть с хозяевами слово какое скажешь... или с ихней свояченицей, девушкой... Очень она мне в то время нравилась, но чтобы у нас промежду собой что-нибудь этакое происходило – ни боже мой! (Мне, я вам доложу, на этот счет верно такое несчастье: чуть мало-мало какое касание... – «нет, говорит, женись!») Так, докладываю вам, в прежнее время хоть с нею... А теперича, даже когда она прибежала ко мне одна в мастерскую и почала реветь, будто цирюльник с ней неладно поступил, обманом, то я тотчас же ее из мастерской удалил и дверь захлопнул.

Да в самом деле? Что я вяжусь?.. Опять, кто их разберет, а мне по тюрьмам шататься некогда...

Но все же я ее пожалел!

Случалось еще, что через эту мою робость тогдашнюю немало я ругательств перенес. Иду, примерно, по переулку, вдруг солдат попадается.

«Не знаешь ли, спрашивает, милый человек, где тут Дарья-солдатка?» На это я только молчанием ему отвечаю: потому, ну-ка он скажет: «А, знаешь! а пойдём-кося, скажет, в часть:

Дарья-то эта фальшивыми делами занималась!» Так, по глупости своей, опасался тогда... Начинает меня солдат поливать – я все не оборачиваюсь, иду; он того злее – я все иду... Грозит, грозит, наконец я быдто не вытерплю: повернусь – «вот я, мол, тебе...». Тою же минутою солдат исчезал, ровно сквозь землю проваливался.

Начал я маленько разгадку понимать!

Подходит время, надо что-нибудь пробовать! Все я мытарства видел, ото всего в убытке остался... Порешил я работать один; трудно, ну, по крайней мере, хоть какой-нибудь жизни добиться можно. Тут я, признаться, братцу и маменьке в ножки поклонился, дали они мне денег – с Зуевым за его половину в станке расчесться... Стал я Алешке деньги отдавать, плачет малый!

«Ах, – говорит, – Проша, как ты чуден! Ну, пьян человек, чужое добро пропил, эко дело! А ты, – говорит, – уж и бог знает что... Лучше бы в тыщу раз стали мы с тобой опять дело делать».

«Нет, – говорю, – шалишь!»

«Опять бы песни, стих бы какой... Неужто ж я зверь какой?»

Я все понимаю это... А уж против нашей жизни не пойдешь: вот я теперь чуйку пропил, должен я стараться другую выработать».

«И другую, – говорю, – пропьешь».

«Может, и другую... Я почему знаю?.. Я вперед ни минуточки из своей жизни угадать не могу...»

Жалко мне его стало, но, поскрепившись, я его спросил:

«Куда мое-то пальто девал?...»

«Я почему знаю!.. Я об этом тебе ничего не могу сказать... Эх, Проша!»

Однако же я с ним жить не стал. Страсть как мне было тяжело одному! Две недели с неумелых-то рук над работой покоптеть, а выручки, барышу то есть, – три рубля. С чего тут жить? Ну, кое-как перебивался, платышко начал заводить, например, манишку, все такое, нельзя! Познакомился с чиновником... Кой-как! К братцу я в то время не ходил, или ежели случится, то очень редко, по той причине, что кроме уныния завели они другую Сибирь: гитару... Иной человек возьмется на гитаре-то, восхищение, душа радуется, но братец мой изо всего муку-мученскую делал. Постановит палец на струне у самого верху и начнет его спускать даже до самого низу. Воеет струна-то, чистая смерть! По этому случаю я у него не бывал.

Начал было я в это время Алеху Зуева вспоминать, не позвать ли, мол? А он, не долго думая, и сам ко мне привалил... Пьяный-распьяный.

«Ты! – заорал на меня, – подлекарь! подавай деньги!»

«Как-кие, – говорю, – деньги?»

«Ты разговоры-то не разговаривай, подавай... Какие! – передразнивает, – за станок! вон какие!»

Тут я, признаться сказать, в такое остервенение вошел, что, не помня себя, тотчас за горло его сцапал и грохнул на землю.

Вижу: малому смерть, но все же я еще ему коленкой в грудь нажал, и как же я его в это время полыскал!.. Ах, как я над ним все свои оскорбления выместил! Зажал ему горло и знаю, что ему теперича ни дохнуть, – между прочим, кричу на него: «говор-ри!»

«Пр-роша, – хрипит... – П-пус-с-сти!»

«Говор-ри! Анафема!..»

В то время я себя не помнил и истинно мучил его, как зверь... С час места я с ним хлопотал, наконец пустил... Отрезвел он... Помню, стоит этак-то в дверях, картузишком встряхивает...

«Сейчас драться, – говорит, – нет у тебя языка сказать-то? Право! За го-орло!»

«Ладно, – говорю, – мне к суду с тобой идти не время!»

«Я почему знаю! «деньги», «получил»... Я почему знаю?»

«Дьявол! кто ж у вас знать-то будет? Че-ерт!»

«Я почему знаю... За горло!.. Эко диво какое!»

«Проваливай!»

«Обрадовался!..»

Кой-как ушел он... И, между прочим, скажу, что о своем добре Зуев и не спросил, потому знал он, что искать его негде, ибо где его сыщешь?.. Вздохнул я маленько после таких забот, и, говорю вам по чистой совести, стало мне страсть как легко на душе, когда я его победил... Тут уж я совсем понял! Из-за того жить, чтобы выработать да пропить? На это я не согласен!..

Н-нет-с... Мне желательно жить по-людски... С этим я и решил, что в чернонародии – без разговору, ручная расправа, а в благородстве – всякое почтение...

II. Первый опыт

Еще немного подобных случаев, узаконявших силу кулака в глазах благородного человека, и физиономия Прохора Порфирыча приняла тот оттенок «себе на уме», который так часто проглядывает в умных, умеющих обдѣлывать свои дела русских людях: деревенских дворниках, прасолах, которых простой, добродушный и оплетаемый народ потихоньку называет жилами, жидоморами и проч. По ходу дела Прохор Порфирыч тоже был жидомор, но жидомор чуть-чуть не благородный, вежливый, что, впрочем, с большею подробностью мы увидим впоследствии. Мысль о разживе не покидала его: то представлялось ему, что идет он по улице, вдруг лежат деньги, «отлично бы, хорошо», – сладко думал он. По ночам ему снились тоже деньги. Кто-то выкладывал перед ним вороха и сизых и серых бумажек и говорил: «получай!» Прохор Порфирыч в ужасе раскрывал глаза и узнавал свою холодную комнату...

– Ах, чтоб тебе провалиться! – с досадой вскрикивал он тогда.

А времена все трудней становились. Помещики съезжались; опустели трактиры, цыганские певички напрасно поджидали «графчика», зевая и пощипывая струны гитары. Торговля приутихла всякая: рабочие, наподобие Зуева, шли охотой в солдаты.

Шли также и неохотой.

– Ах, теперича бы силенки! Ах бы хоть немножечко!.. – тосковал в эту пору Порфирыч.

Во время такой страстной жажды лишнего гривенника, своего угла, вообще во время жажды обдѣлывать свои дела умер растеряевский барин (отец Прохора Порфирыча). Дело случилось темным вечером. Поднялась суматоха, явились душеприказчики, дали знать Порфирычу. При этом известии в глазах его сразу, мгновенно прибавилась какая-то новая, острая черта, какие являются в решительные минуты. Он сразу понял, что настало время. Одевшись в свое драповое пальто с карманами назади, он почему-то поднял воротник, плюснул шапку, и строгая фигура его изменилась в какую-то юркую, готовую нырнуть и провалиться сквозь землю, когда это понадобится.

Порфирыч делал первый шаг.

...Вечером в нижних окнах дома «барина», долго стоявших забитыми наглухо, светился огонь. На столе лежал покойник, в мундире; две длинные седые косицы падали на подушку; стояли высокие медные подсвечники; солдаты, бабы пришли смотреть «упокойника». Унылая фигура последней фаворитки барина, Лизаветы Алексеевны, в огромной атласной шляпе, с заплаканными глазами и руками, державшими на сухой груди платок, ныряла в толпе там и сям, пробивая плечом дорогу к одному из душеприказчиков.

– Семен Иванович, – слезливо говорила она, – неизвестно... мне-то?.. хоть что-нибудь?

– Я вам сто тысяч раз говорю – не знаю!

– Не сердитесь! ради бога, не сердитесь!.. Голубчик!

– Что вы пристаёте? Сидите и дожидайтесь!

– Буду, буду, буду! Боже мой! Ах, господи!

Лизавета Алексеевна садилась в угол, тревожно бросая глазами туда и сюда. Заметив, что душеприказчики разговорились, она минуточку подумала и вдруг без шума шмыгнула в другую комнату.

Горели свечи, лампадки. Дьячок с широкой спиной приготовлялся читать псалтырь, переступая в углу тяжелыми сапогами. В виду покойника толковали шепотом. Было упомянуто о том, что хоть и все мы помрем, но всё «как-то»... к этому присовокуплялось: «ни князи... ни дружи...» А затем, после глубокого вздоха, следовал какой-нибудь совершенно уже практический вопрос, хотя тоже шепотом:

– А вот, между прочим, не уступите ли вы мне рыжего мерина? под водовозку?

– Ох, мерина, мерина! – глубоко вздыхал душеприказчик, думавший, может быть, крепкую думу о том же мерине. – Погодите, Христа ради, немножечко!

Дьячок кашлянул и зачитал:

– Блажен му-у-у-у...

– Караул!!! Караул! Стой! – раздалось под окнами.

– Господи Иисусе Христе! Что такое? – зашептала публика, и все бросились на улицу...

– Стой! Стой! Н-нет! вврешь! Брат! брат!

Народ, сбежавшийся со свечами, увидел следующую сцену.

Прохор Порфирыч старался вырвать из рук Лизаветы Алексеевны огромный узел, в который та вцепилась и замерла.

Из узла сыпались чашки, стаканы, серебряные ложки и проч.

– Брат, брат! Краденое!..

– Мадам, – сказал значительно душеприказчик, – пожалуйста прочь!..

Прохор Порфирыч налег на врага узлом и потом сразу рванул его к себе. Лизавета Алексеевна грохнулась оземь.

Толпа повалила вслед за победителем. Надо всеми колыхался огромный узел.

– Как? воровать? – громче всех кричал Порфирыч. – Нет, я тебя не допущу! Извини!..

Узел свалили на крыльцо с рук на руки душеприказчику, который говорил Порфирычу:

– Спасибо, спасибо, брат!

– Помилуйте, васскородие, – говорил Прохор Порфирыч, обнажая голову и в ужасе раздвигая руки. – Как же эт-то только возможно? Я – все меры!.. Ка-ак? воровать?.. Нет, это уж оставь!

– Ты тут ее схватил?

– Да тут-с, васскородие, как есть у самых у ворот. Баррское добро, д-да боже меня избави!.. Что тебе по бумаге вышло – господь с тобой, получай!

– То другое дело!

– Да-с! то совсем другое дело! А то скажите на милость!

– Спасибо! Молодец!

– Всей душой.

Порфирыч осторожно пощупал у себя за пазухой и подумал: «здесь!»

– Я, васскородие, видит бог!

Душеприказчик ушел. Порфирыч долго еще толковал брату: «А то, скажите на милость, такой поступок... целый узел, не-э-эт!» Потом пошел под сарай, запихнул между дров какойто сверток, подхваченный в бою, и, возвращаясь оттуда, говорил:

– Каак? воровать? Нет, ты это оставь!

Лизавета Алексеевна долго билась и истерически рыдала за воротами:

– Из-за чего? Из-за чего? Из-за чего я всю-то молодость – всю, всю, всю... Господи! Грех-то! Грех-то!..

Вдруг она вскочила, отряхнула платье, утерла глаза и быстро направилась в комнату.

– Мадам! – говорил душеприказчик, – пожалуйста отсюда вон... после таких поступков!

– Н-не пойду!..

Лизавета Алексеевна села на стул, прижалась спиной к углу, плотно сложила руки и вообще решила «ни за что на свете» не покидать своего места.

– С вашим поведением здесь не место... Здесь покойник.

– Н-не пойду! н-не пойду! – твердила Лизавета Алексеевна, дрожа.

– А! не пойдете...

– Голубчик!

Она бросилась на колени.

– Есть в вас бог! не гоните меня! Ради бога... Я ведь с ним, с покойником-то, восемь лет... Ах, ах, ах, ах!

Душеприказчик ушел, махнув рукою.

Поздно вечером душеприказчик, отправляясь спать, поручил за всем надсматривать Порфирычу; на унылого, нерасторопного Семена надежды было мало: где-нибудь непременно заснет. Разошлись все, даже и Лизавета Алексеевна. Прохор Порфирыч вступил в свои права: надсматривал и распоряжался. В кухне дожидалась приказаний стряпуха. Порфирыч, для храбрости «пропустивший» рюмочку-другую водки, вступил с ней в разговор.

– Как в первых домах, – говорил он, – так уж, сделайте милость, чтобы и у нас.

– Слава богу, на своем веку видала, бог привел, разные дома... Вот купцы умирали Сушкины, два брата.

– Д-да-с! Потому наш дом тоже, слава богу... Будьте покойны!

– Не в первый раз... На сколько, позвольте спросить, персон?

– Персон, благодарение богу, будет довольно! Нас весь город знает...

– Дай бог, а завтра утренняя надеть пораньше грибнова и опять крахмалу для киселя.

– И грибнова! Мы этим не рассчитываем.

Молчание.

– Я полагаю, – говорит стряпуха, – кисель-то с клеем запустить?

– И с клеем. Как лучше... как в первых домах.

– А не то, ежели изволите знать, со свечкой для красоты.

– Как в первых домах! И с клеем и со свечкой... Запускайте, как угодно!.. чтобы лучше!..

Мы не покупимся.

Бодрствование во время ночи Прохор Порфирыч тоже выдержал вполне. Расставшись со стряпухой, он направился в дом, уговорив братца лечь спать.

– И то! – сказал братец и лег на крыльцо в кухне.

В освещенной комнате раздавалось тягучее чтение псалтыря, прерываемое понюшками табаку. Порфирыч босиком тихонько подходит к дьячку, засунув одну руку с чем-то под полу, и, придерживая это «нечто» сверху другой рукой, шепчет:

– Благодетель!

Дьячок обернулся.

– Ну-ко!

Дьячок сообразил и произнес:

– Вот это благодарю! – Тут он нагнулся к уху Порфирычу и зашептал: – Грудь! На грудь ударяет ду-ду-ду-то!..

– Прочистит!

– Это так! Оно очистку дает! В случае там в нутре что-нибудь...

– Вот, вот! Она ее в то время сразу. Ну-ко!

Пола полегоныку приподнимается; дьячок говорит:

– О, да много!

– Что там!

Нечто поступало в дрожавшие руки дьячка.

– Сольцы, сольцы!

– Цс-с-с... Сию минуту.

– Гм-м... кхе!

– Готово!

– Ах, благодетель! Я тебе, друг, что скажу, – прожевывая, шептал дьячок, – ты по какой части?

– Слесарь.

– А мы по церковной части. Я тебе что скажу: наше дело – хочешь не хочешь!

Дьячок пожал плечами.

– Смерть!

– Ты думаешь, всё на боку да на боку лежим? Нет, брат!

Долго идет самое дружественное шептание. В комнате раздается опять тягучее чтение.

Прохор Порфирыч в это время уже в мезонине; он нагибается под кровать, кряхтя, что-то достает оттуда, потом на цыпочках спускается с лестницы и идет через двор к саду.

Брешет собака...

– Черной!

Порфирыч посвистывает.

– Как! воровать? – говорит он, возвращаясь из сада и проходя мимо брата. – Нет, гораздо будет лучше, ежели ты это оставишь... Братец, не спите?

– О-ох!.. Не сплю! – вздыхает Семен, поворачиваясь на своем ложе.

Порфирыч подсаживается к нему, тоже вздыхает, присовокупляя: «ох, горько, горько!», и затем тянется долгий шепот Порфирыча:

– Ах ты, говорю... Да как же ты, говорю, только это в мысль свою впустить могла?

Безлунная ночь стоит над городом; небо очистилось, в воздухе сыро. В стороне по небу скатилась звезда, оставив светлый след.

– О-ох, господи! – шепчет кто-то в кухне.

На крыльце явилась стряпуха.

– Я все беспокоюсь, – заговорила она, – как кисель?

– Как в первых домах!

– Опять можно и полосами его пустить, с клюквой, как угодно?

– Как вам угодно, и с клюквой!.. Как в первых домах!

– Я все беспокоюсь! – заключила стряпуха, уходя.

Усталый дьячок еще медленнее читал псалтырь; из открытого окна на него изредка налетал свежий воздух.

– С-с-с-с-с... – раздалось под окном.

Дьячок обернулся.

Прохор Порфирыч облокотился на подоконник локтями, прищуривал глаз и кивал головой в сторону.

– Не мешает! – сказал дьячок.

Следовало повторение «нечто» и опять монотонное чтение.

Прохор Порфирыч снова исчезал куда-то. Дьячок, у которого начинали слипаться веки, иногда закрывал глаза и прерывал чтение, пошатываясь вперед и назад. Тишина была мертвая.

Вдруг где-нибудь, не то сверху, не то внизу, с каким-то нытьем щелкал замок. Дьячок выпрямлялся, широко раскрывал глаза и едва успевал произнести два-три слова, как начинал дремать снова.

Послышалось какое-то шуршание. Дьячок снова встрепенулся.

– Я, я, я! – успокоительно шептал из сеней Порфирыч, осторожно таща по земле какую-то шкуру, или ковер, или шинель. – Завтра, брат, и без того хлопот полон рот!

Начинали петь петухи. Дьячок совсем заснул, положив голову на кожаный аналой и приседа. Его разбудил какой-то шум, происходивший на дворе... В окно он увидел Прохора Порфирыча, расправлявшегося с Лизаветой Алексеевной, которая таки не вытерпела до утра и тихонько успела пробраться в мезонин.

– Уйду! уйду! уйду... Ради бога! Ах, не увечьте! Сама! сама! сама!

С такою же точно рассудительностью проводил Прохор Порфирыч и следующие дни; в день похорон, почти в одно и то же время, он распоряжался в кухне, подавал к столу тарелки, бежал за водкой, утешал маменьку, выводил из-за стола пьяного, подтягивал вместе со всеми «вечную память!» и тут же засовывал в карман какую-то вещь, присовокупляя про себя:

«ременная, аглицкая» и т. д. Без Прохора Порфирыча никто не мог дохнуть; отовсюду слышались голоса: «Порфирыч, Прохор Порфирыч!», и в ответ на них Порфирыч беспрестанно сыпал: «С-сию минуточку, с-сию минуточку... Иду, иду, иду!»

Кончились похороны, дом опустел: везде были открыты окна и двери, ветер свободно гулял повсюду, вытаскивая в отворенное итальянское окно мезонина ветхую зеленую стору и подгоняя ее под самый князек крыши; в комнате, где так долго умирал барин, было все взрыто: старые тюфяки и перины, рыжие парики с следами какой-то масляной грязи вместо помады, банки с какими-то мазями, прокопченные куревом трубки и чубуки, все это наполняло душу отвращением, гнало из комнаты, уже опустевшей. Внизу и вверх лопались обои, и за ними то и дело шумели потоки сору.

Прохор Порфирыч это время постоянно находился при маменьке, изредка заглядывая в дом, где через несколько времени начался аукцион. Порфирыч долго рассматривал вещи, долго молчал, и когда решался наконец просунуть в толпу голову и произнести «пятак-с», то это значило, что ему попалась такая штука, за которую люди знающие, «охотники», дадут несравненно больше. Зацепив какую-нибудь подобную вещицу, он скромно возвращался к маменьке, покупал ей на свои деньги водку (малиновую сладенькую любила Глафира) и к чаю брал у растеряевского лавочника Трифона тоже любимые Глафирой грецкие орехи и винные ягоды...

– Кушайте, маменька! сделайте милость, – говорил он.

– Не могу, Прошенька, я этого чаю глотка проглотить, чтобы без эвтого, без сладкого...

Изюмцу или бы чего...

– Кушайте, на доброе здоровье, не томитесь...

– Что ж это, Проша, будет ли нам какое награждение от покойника?..

– Надо быть. Я так думаю, чем-нибудь же должен он свое поведение оплатить... Надо за этими крюками-то поглядывать!.. – намекал он на душеприказчиков.

– То-то, ты, Проша, посматривай!.. Поглядывай, как бы они чего не наплели там...

– Авось бог! Кушайте, маменька, кушайте!

После аукциона душеприказчик позвал Прохора Порфирыча наверх.

– А, ты! – сказал чиновник, когда Порфирыч вошел и поклонился. – Вот вас барин наградил.

Порфирыч осторожно подвинулся к столу и упорно смотрел в валявшуюся там бумагу. Он что-то прочитал в ней.

– Вот деньги. Отдай матери.

– Покорнейше благодарим, васскородие!

Порфирыч поцеловал у чиновника руку...

– Ну, ступай!

– Слушаю-с...

Порфирыч стал у двери.

– Больше ничего; ступай!

– Слушаю, васскородие!

И все-таки остался у двери.

– Тебе что-нибудь нужно?

– Так точно-с; потому, васскородие, самые пустые деньги вы изволили отдать-с...

– Как?

– Так точно-с... Мы это знаем-с. Сделайте милость, извините... барин по бумаге отделил третью часть на сирот; следовательно, пожалуйста нам полностью. На что нам такая безделица? Вы, васскородие, сделайте вашу милость, доложите, что следует...

– Ступ-пай! Я тебе говорю!

– Слушаю-с...

И опять-таки стал у двери.

- Ты не уйдешь? – через несколько минут злобно закричал чиновник.
- Сделайте божескую милость, васскородие, пожалуйста деньги-с полностью!
- Вон!
- Я, васскородие, по суду буду искать... Как вам будет угодно!..

Грозное молчание...

– Как вам угодно-с... Я к господину губернатору... Опять же мы и Федор Федорыча довольно хорошо знаем... Как вам угодно!

- Я сам Федор Федорыч! Что ты мне грозишь? Плевать я на него хотел!
- Как вам будет угодно... Ну, только я этого грабежа не оставлю!

Порфирыч, весь зеленый от гнева, спускался с лестницы.

Чиновник нагнал его и бросил в лицо пачкой бумажек.

– Ты деньги-то не швыряй! – заговорил Порфирыч во все горло. – Ты свою рожу-то береги...

– Дьявол! – послышалось сверху...

Блистательная победа над чиновником завершилась не менее блистательной попойкой в кухне. Брат Порфирыча уезжал в деревню, в конторщики; в кухне по этому случаю кипели самовары, на столе стояли полуштофы, валялись орехи, винные ягоды, рыба, куски ветчины, и шло веселье и плач.

Брат Порфирыча, никогда не пивший водки, сильно охмелел с двух рюмок, лез обниматься и кричал:

- Брат!.. Бр-рат! Я доверяю!..
- Проша! – приставала хмельная мать...
- Господи! – умиленно говорил Порфирыч... – Братец!
- Брат!
- Братец! видит бог!
- Брат! Я доверяю! Ман-нька!.. Брат!..
- Всей душой!.. Боже мой!
- Брат!

Порфирыч обнимался с братом, прижимая к его спине полштоф.

– Брат!

Лакей совсем осовел и валялся как сноп, не переставая повторять: «Бр-рат!» Наконец его ввалили вместе с гитарой в мужичью повозку, присланную из деревни, и Прохор Порфирыч остался с матерью вдвоем...

– Ну, маменька, – говорил он ей на другой день. – Надо думать!.. Не сегодня-завтра в шею погонят...

– О-ох, надо, надо!

– Я так думаю, домик бы? Деньги, они, не увидишь, разбегутся...

– Уж как ты знаешь!.. Куда мне, я не пойму ничего... Еще избыют, пожалуй, и суда не сыщешь... Мне бы где свой угол...

– Я так думаю, домик... Я похлопочу... По крайности будет у вас свое имение...

– О-ох, давно своего-то не было!..

– То-то и есть! Братец, дай бог здоровья, доверяют мне.

– Да я-то нешто зверь какой?.. Ты меня не ограбишь... Не выдашь... Из моего дому не выгонишь...

– Пом-милуйте!.. Ведь тоже вашего заводу-то. Слава богу! – И Прохор Порфирыч целовал у маменьки ручку.

Душеприказчик ходил с купцами вокруг дома умершего барина, пробовал стены топором, мерял землю цепью и, сердито постукивая в кухонное окно, говорил:

– Выбирайтесь, выбирайтесь, выгоню!

– Не беспокойтесь, сделайте вашу милость, уйдем-с!.. – отвечал Прохор Порфирыч.

Несколько дней он употребил на отыскивание дома, наконец нашел. В лачуге жила одна старая баба, никогда не показывавшаяся на свет божий. Ходили слухи, что она с мужем занималась когда-то «нехорошими» делами, вследствие чего муж и умер без покаяния, без причастия. Не захотел. Поэтому старуху все боялись, и никто не старался узнать, что с ней делается: в окнах у нее никогда не светился огонь, печь не топилась, и чем питалась она, тоже было неизвестно. Умри старуха – все бы побоялись войти к ней. Но Прохор Порфирыч зашел. Старуха превратилась в какое-то совершенно одичалое существо. Долго не понимала она, что такое толкует ей Порфирыч, но когда он показал ей деньги, старуха заговорила.

– Давай! давай!.. Я зарюю...

– А сама уйдешь?

– Давай... Уйду! уйду!..

Кое-как Порфирыч наконец растолковал ей, в чем дело, и дал целковый. Старуха с жадностью схватила его, обернула тряпками, спрятала за пазуху и забилась на печь в самый угол...

После того как был отыскан дом, действия Прохора Порфирыча приняли какой-то таинственный характер. Притащив матери из кабака сладенькой, он просил у ней позволения сходиться на минутку в одно место и поспешно направился в какой-то глухой закоулок. Здесь жил известный городской кляузник приказный. Прохор Порфирыч вежливо раскланялся с хозяином и, отведя его к столу, объявил, в чем дело.

– Однако, извините меня, – говорил приказный, внимательно выслушав шепот Порфирыча, – как вы молоды, и какая у вас в душе подлость!

– Что делать! время не такое!..

– В первый раз в таких молодых летах встречаю такую низость...

– А я так думаю, надо бы мне бога благодарить?

– Раненько-с... Чего доброго, еще нашему брату горло перекусите... вот обидно что!

– На этом будьте покойны. Ну, а дело через это все-таки, я полагаю, само собой?

– Это до дела не касаясь. Вы остаетесь при вашем свинстве...

– А вы при нашем!..

– А я-с при моем. Посылайте за полштофом!

Приказный с шумом перевернул лист бумаги.

С этого дня между Порфирычем и приказным начались какие-то непостижимые отношения: они никогда не были вместе, но и не разлучались; в то время, когда Порфирыч сидел с маменькой и угощал ее, вдруг в окне, как молния, мелькала рожа приказного, делавшая какие-то ужимки и гримасы.

Порфирыч срывал с гвоздя фуражку и исчезал. А то можно было их встретить еще так: Порфирыч стоял на одном конце улицы, а приказный на другом, и разговор шел тоже непостижимыми жестами: приказный махал куда-то головой в сторону, Порфирыч показывал ему кулак; в ответ приказный тряс головой, крестился и вынимал из бокового кармана бумагу...

Порфирыч почему-то плевал сердито в землю, но шел к приказному. Приказный, стараясь вызвать Порфирыча ночью, громко кашлял под окном или начинал петь. Днем стоило Порфирычу выйти на улицу, как тотчас же раздавалось откудато «с-с-с-с-с... с-с-с-с-с...» и в стороне показывалась фигура приказного, поднимавшего почему-то три пальца; Порфирыч также иногда показывал ему в ответ три пальца, только в другой комбинации... После таких таинственных сцен приказный на минуту зачем-то явился в кухне у Глафиры вместе с Прохором Порфирычем, жался у двери, а когда Глафира сказала сыну: «да я этого ничего не понимаю», приказный вдруг развернул на столе бумагу, опрокинулся над ней, зачеркал пером и что-то заговорил. Та же сцена произошла в доме старухи, у которой покупали дом. Затем приятели снова разошлись в разные стороны. Стоя на крыльце гражданской палаты, Порфирыч манил приказного, торчавшего где-то, бог знает, как далеко... Приказный показал что-то руками,

Порфирыч еще поманил. Тогда приказный направился к палате зигзагами, почему-то миновал палатское крыльцо, потом повернул назад, поплелся по стенке и, снова поравнявшись с крыльцом, вдруг юркнул туда, как рыба в воду. Порфирыч исчез за ним...

Результатом таких таинственных деяний провинциальной адвокатуры было то, что Прохор Порфирыч воротился из палаты хмельной, постоянно улыбающийся, выложил перед матерью из кармана совершенно смятые ягоды, яйца и все хихикал.

– Все ли, батюшка, Прошенька, теперича-то...

– В-всссе! Будьте покойны! Кушайте на здоровье... Теперь... уж все! уж теперича, маменька, вполне!

– Ну, и слава богу!

– С-слава богу!.. Эт-то справедливо. Да-с! уж все!..

Порфирыч вдруг хихикнул.

– Маменька! – сказал он, зажимая рукою рот и фыркая... – А что я вам скажу... Дом-то... Дом-то, ведь он мой-с!..

– Ах!.. – вскрикнула Глафира и обомлела...

Прохор Порфирыч попробовал было сделать серьезную физиономию, но вдруг фыркнул и рванулся в дверь, повалив на ходу скамейку и оставив Глафиру в каком-то оцепенении.

Скоро Глафира и Прохор Порфирыч перебрались в купленную лачугу. Глафира заливалась слезами и кричала на всю улицу.

– Маменька, – сказал на это Порфирыч строго, – ежели вы так продолжать будете, я, ей-богу, в полицию не постыжусь...

После этого Порфирыч перенес ругань от брата, нарочно приехавшего из деревни.

– Я с тобой, с подлецом, и говорить-то бог знает чего не возьму! – заключил свою речь брат и пошел к двери...

– Сейчас самовар готов, братец... – произнес все время молчавший Порфирыч и проводил разгневанного брата до ворот.

Преодолев такие трудности, Порфирыч приступил к старухе:

– Ну, старушка, ступай с богом...

– Что ты, очумел, что ли?

– Как очумел? дом мой! ступайте с вашим капиталом.

– Куда я пойду? Да я тебе все глаза выцарапаю, только ты заикнись.

Порфирыч порешил это дело повести через полицию, а старуха безмолвно скорчилась на печи.

Сознав наконец себя полным хозяином, Прохор Порфирыч с истинным благоговением произнес:

– Боже! Благодарю тя!..

III. Дела и знакомства

Так поселился Прохор Порфирыч в Растеряевой улице.

Ветхая и забытая изба старухи оживилась, приосанилась; около нее несколько дней возились два поденщика: отставной раненый солдат, с засученными рукавами и панталонами, густо смазал ее глиной, таская за собой наполненное глиною корыто и шайку, из которой он по временам брызгал водою на стену; плотник, с своей стороны, усердно охаживал избу кругом, тщательно выбирая местечко, куда бы, не опасаясь падения избы, можно было загнать хороший гвоздь. Скоро ярко выбеленная изба пестрела повсюду множеством светлых планок, досок, дощатых четырехугольников, ярко вылежавших на почерневших и полусгнивших досках крыши, ворот и забора. И, несмотря на такие старания, изба все-таки напоминала физиономию обезьяны, если посмотреть на нее сбоку: нижняя выпятившаяся челюсть соответствовала выпятившимся бревнам в фундаменте, вследствие чего окна верхним концом уходили в глубь избы, а нижним выпирали наружу. В одно и то же время с преобразованием наружного вида избы шли и внутренние реформы. Прохор Порфирыч неумоимо вводил разные «положения»; для маменьки было «положение»: знать свое место, сидеть и дожидаться последнего часу; изюмы и сладкие малиновые наливки были отменены – «не такое время»; насчет старухи, которую не выжила никакая полиция, было положение «не касаться»: «хочет издохнуть – издыхай, не хочет – как угодно»; из домашних харчей ей не отпускалось ничего; маменька, убитая сыном, выговорила у него дозволение хотя в спокойе доживать век и не трепаться около печки; Прохор Порфирыч попятился, припомнил маменьке ее недобропорядочную жизнь, но все-таки взял в стряпухи бабу, которая была тоже оплетена положениями: солдат не водить и не таскаться по соседям – «нечего слоны слонять» попусту; баба тотчас заступилась за свое правое дело и выговорила только одного солдата, и тот обещался жениться на ней после Святой.

Скоро явился солдат, расстегнул сюртук, закурил трубку, начал поплевывать по сторонам, запахло махоркой, послышались слова: «фитьфебиль», «чихаус», «каптинармус». За солдатом потихоньку вошла какая-то баба, спросила: «что, нашей курицы не видали?» и села. За ней другая, тоже насчет курицы, третья – пошел говор, дружба, словом, жите, которое Прохор Порфирыч не мог замуровать никакими положениями.

Он изредка высовывал сюда голову и грозно произносил: «Черти! аль вы очумели?» Солдат прятал пылавшую трубку в карман, бабы замолкали, но через несколько времени начиналась та же самая история. Порфирыч поэтому держался преимущественно в своей половине.

Прохор Порфирыч выбрал себе на жите другую половину избы, отделенную от кухни сенями с земляным полом. Маленькая комнатка его хоть и смотрела окнами в забор, но зато не предвещала того близкого разрушения, которым ежеминутно грозило жилище маменьки: стены были довольно крепки и прямы, окна не так гнили и не так ввалились внутрь комнаты; тут же была особая печка с лежанкой. Некрасивый вид комнаты, при деятельном старании Порфирыча, принял некоторое благообразие. Перед окнами стоял станок, на котором Порфирыч обыкновенно высверливал дуло револьвера и зарядные отверстия в барабане; на этом же станке оттачивались как эти две штуки, так и все принадлежности замка, собачки, шомпола и другие части, которые доставляются кузнецом в самом аляповатом виде, едва-едва напоминающем настоящую форму оружия. Необходимые для этого инструменты были воткнуты за кожаный ремешок, прикрепленный к стене несколькими гвоздями. Над ними, у самого потолка, на больших гвоздях болтались вырезанные из листового железа фасоны разных частей оружия; по ним можно было проследить все «последние» растеряевские новости в мастерстве Прохора Порфирыча. Без пособия каких бы то ни было руководств, без самонаименьших признаков какого-нибудь печатного лоскута по этому предмету, Прохор Порфирыч всегда умел «поддеть» самую последнюю новинку. Проезжий офицер из Петербурга, помещик, облетевший весь мир

и возвращающийся в отечество с двумя-тремя десятками заграничных вещей, никогда почти не ускользали от зоркого глаза Прохора Порфирыча. Где-нибудь в гостинице Порфирыч убедительно просил такого проезжего дать вещицу «на фасон»; тут же, повертывая эту вещицу перед глазами, смекал, в чем дело; в крайних случаях прикидывал вещицу на бумагу и обводил наскоро карандашом, а до остального додумывался дома. Таким образом, в глуши, где-то в Растеряевой улице, Порфирыч знал, что на белом свете есть Адаме и Кольт, есть слово «система», которое он, впрочем, переводил в свою веру, отчего оно преображалось в «исцему». Мало того, пистолеты, выходившие из рук Порфирыча, носили изящно вытравленное клеймо: «Patent», смысл какового клейма оставался непроницаемою тайною как для Порфирыча, так и для травщика; но оба они знали, что когда работа украшена этим словом, то дают дороже.

Все остальное в комнате, не относившееся до мастерства, относилось исключительно до личных потребностей Прохора Порфирыча. Деревянная скрипучая кровать с грубым ковром, когда-то принадлежавшая растеряевскому барину, кожаная подушка того же барина, манишка на стене, сундук с тощими пожитками и, наконец, на лежанке, издали казавшейся грудой кирпичей, кусок тарелки с ваксой, сапожная щетка с оторванной верхней крышкой и оплывший сальный огарок в низеньком жестяном подсвечнике. Все эти признаки убожества в глазах Прохора Порфирыча принимали совершенно другое значение, потому что говорили о собственном его хозяйстве.

Сени также не пропали даром: в них было «положено» спать подмастерью, которого Порфирыч скоро «припас» для себя. Подмастерье этот был не из т-ских; он был тамбовец и на счастье Порфирыча обладал таким множеством собственных бед, что вовсе не требовал за собою ни строгого присмотра, ни понуканья, ни ругательств. Он был почти вдвое старше Порфирыча, испытал наслаждение быть полным хозяином, имел благородную жену, которая и помутила всю его жизнь, доведя наконец до того, что он, Кривоногов, бежал из родного города куда глаза глядят. В Т. проживал он без билета, что составляло его ежеминутную муку. Ко всем этим несчастьям присоединилось еще одно, едва ли не самое страшное, именно непомерная сердечная доброта, покорливость и ежеминутное сознание своей ничтожности. Такие беды делали из него горчайшего пьяницу, но опасность попасть в пьяном виде в полицию, а потом в руки жены иногда могла удержать его в пределах одного шкалика в сутки. Прохор Порфирыч, имевший возможность по крайней мере раз тысячу убедиться в честности своего подмастерья, знавший полную его неспособность сделать какую-нибудь гнусность, все-таки, уходя из дому, заглядывал в кухню и говорил бабам:

– Присматривайте за этим молодцом-то!

Самою задушевною собеседницею подмастерья была Глафира; при ее помощи как-то таинственно являлась выпивка, соленый огурец, потом, благодаря им, тянулись долгие разговоры шепотом, ибо грозная тень Порфирыча невидимо витала в мастерской. Подмастерье рассказывал про свое имущество, что «всего было», как он с полицеймейстером пил шампанское на балконе, как ходил за женой в маскарад, куда она укатила с офицерами. Потом еще более глубоким шепотом присовокуплял, как жена его била и ругала. При этом дело происходило так. «Харя!» – говорила ему жена, на что будто бы Кривоногов отвечал: «Покорнейше вас благодарю!» – «Рогожа!» – «Чувствительнейше вас благодарю!..» Разлетится, разлетится, по щеке – хлоп! «Сделайте вашу милость, еще...»

После разных мытарств, перенесенных им от супруги, последняя однажды пожелала с ним помириться... «Я, – говорит, – тебя, Федя, ни на кого не променяю...» – «О?» – «Провалиться! Потому, я тебя без памяти обожаю...»

– Обрадовался я, признаться, – рассказывал Кривоногов. – «Пройдись со мной под ручку...» Подхватил, пошли.

Шли-шли... «Зайдем сюда на минутку, вот в этот дом...»

«Изволь», – говорю. Зашли. Завела она меня к какому-то военному, да и говорит: «Нельзя ли моему мужу лоб забрить?»

Я как услышал – прямо в окно, да бежать. Вот от этого-то и здесь очутился; не знаю, как отсюда-то бог вынесет...

Кривоногов вздыхал и принимался за работу.

Если иногда случалось, что подмастерье запивал и начинал поговаривать, что сам господин хозяин перед ним ничего не стоит, то хозяин, то есть Прохор Порфирыч, брал его за шиворот, тащил в амбар и, толкнув туда, запирали дверь на замок. – И покорнейше вас благодарю! – говорил на это Кривоногов, очутившись где-нибудь в углу среди корыт и пустых мешков.

Обремененный разными невзгодами, подмастерье не переставая работал целые дни, и под защитой его двужилых трудов Прохор Порфирыч не спеша обделывал свои дела.

Главною задачею его в эту пору было оставлять в своем кармане по возможности самую большую часть той красненькой, которая получалась за проданный револьвер, то есть отделять из нее по возможности как можно меньше в пользу кузнецов и других лиц, которые участвуют своими трудами, и уплачивать им, если можно, натурою, в «надобное» время.

Сообразно с такими планами, Прохор Порфирыч особенно ценил только два дня в неделе: понедельник и субботу.

Понедельник был для него потому особенно дорог, почему для прочего рабочего люда он был невыносим. В понедельник Прохор Порфирыч делал дела свои потому, что вся «мастеровщина» города в этот день не имела сил ударить палец об палец, утверждая, что в этот день работают «лядкины детки», а все настоящие люди рыщут целый день, желая отдать душу дьяволу, только бы опохмелиться. И этот-то общий недуг доставляет в руку Порфирыча несколько таких недужных субъектов живьем. Но для этого им приходилось пройти еще многое множество рук, всегда достаточно цепких и много способствующих успеху Порфирыча. Дело совершалось примерно таким путем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.